

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

— Господа, прошу не задерживаться, отец Никандр уже прибыл. Господа, прошу не задерживаться, отец Никандр... — Худощавый, болезненно бледный офицер монотонно повторял одну и ту же фразу, стоя у лестницы, ведущей в зал Благородного собрания.

Публики было много, и не только дворянской, ибо в широко разосланных Славянским комитетом билетах особо указывалось на возможное присутствие самого генерал-губернатора, а появление его личного адъютанта подчеркивало серьезность предстоящего события. И шли разодетые мамыши с засидевшимися дочками, отставные полковники, рогожские миллионщики, чиновники и коммерсанты, корреспонденты московских и петербургских газет, студенческая и офицерская молодежь. Гвоздем программы был отец Никандр, только что возвратившийся из Болгарии, свидетель турецких зверств, о которых русские газеты писали из номера в номер со ссылками то на английские, то на австрийские, то еще на какие-то источники. Сегодня выступал очевидец, и, подогретая газетной шумихой, Москва валом валила в Большой белый зал.

— Господа, прошу не задерживаться...

— Господин капитан, а танцы будут? — бойко спросила хорошенькая барышня, тронув веером порядком уставшего адъютанта.

— О, мадемуазель Лора! — Штабс-капитан поклонился, не забывая при этом со служебной цепкостью оглядывать вестибюль. — Как всегда, в одиночестве гордом?

Бросаете вызов московскому обществу? Приветствую вашу решимость в суровой борьбе за эмансипацию и ангажирую вас на весь вечер.

— А что скажет ваша очаровательная жена?

— Она так любит вас, Лора, что будет только счастлива.

— Я подумаю, Истомин. Здесь, случаем, не появлялся высокий шатен?..

— С туркестанским загаром? — улыбнулся Истомин. — Увы, пока нет.

— Скажите ему, что у нас места в третьем ряду слева.

— Непременно, мадемуазель... Господа, очень прошу не задерживаться.

Девушка убежала, прошуршав платьем по мраморным ступенькам. К зданию подъезжали и подъезжали экипажи, двери беспрерывно хлопали, пропуская новые группы москвичей; входя, все непременно задерживались в вестибюле, ища знакомых или начиная обстоятельные московские беседы.

— Господа, прошу... — Среди цивильных костюмов мелькнул офицерский мундир, и адъютант прервал привычную фразу. — Олексин! Пожалуйте сюда!

Молодой армейский поручик с надменно прямой спиной вынырнул из-за рыхлых сюртуков.

— Рад вас видеть, Истомин. Дежурите?

— Изображаю вопиющего в пустыне. О, поздравляю с производством, поручик. Говорят, вы недавно совершили приятный вояж?

— Не шутите, Истомин, я чудом не помер от жажды в Кызылкумах.

— Но зато удостоились поцелуя в уста от самого Скобелева. Правда это, или легкая зависть преувеличивает ваши успехи?

— Если бы я вам привез именной его величества указ о зачислении в свиту, вы бы тоже расцеловали меня. А именно такой подарок я и доставил Михаилу Дмитриевичу на позиции.

— От души поздравляю. — Адъютант пожал руку поручику. — А награда ждет вас в третьем ряду слева.

— Здравствуйте, господа. Кто ждет в третьем ряду? — К ним подошел рыжий, весь в веснушках, подпоручик гвардейской артиллерии. Коротко, как добрым знакомым, кивнул и тут же картинно прикрыл рукой явно искусственный зевок.

— Не вас, Тюрберт, не вас, — сказал Истомин. — Ждут нашего среднеазиатского героя. Он умирал от жажды, когда вы опивались шампанским, и теперь его час. Ступайте, господа, мне необходимо очистить вестибюль к приезду его превосходительства.

— Мне чертовски скучно в Москве, Олексин. — Тюрберт опять зевнул. — Я устал от отпуска, ей-богу. Вы всплыли наверх, а наверху всегда ветерок славы, хотя бы и чужой. И вы уже, вероятно, не понимаете меня, господин счастливец.

Олексин и вправду ощущал дуновение чужой славы, которую по молодости склонен был разделять, искренне считал себя счастливым, был влюблен и любим и поэтому великодушно и необдуманно щедр. Он не только проводил подпоручика в третий ряд, не только представил его мадемуазель Лоре как своего ближайшего друга, но и уступил свое место, а сам отошел к колонне, гордо посматривая на рыжего артиллериста, неприятно удивленную девушку, а заодно и на весь переполненный зал. Он был чрезвычайно, до легкого головокружения доволен собой, своим великодушием, фигурой, мундиром, молодостью — словом, всем миром, лежащим сейчас у его ног. «Смотрите, смотрите! — слышалось ему в нестройном шуме зала. — Видите у колонны молодого поручика? Это же Олексин! Да, да, тот самый Гавриил Иванович Олексин, личный курьер его величества, который с риском для жизни доставил Скобелеву именной указ прямо на поле боя!..» Никто, естественно, не обращал никакого внимания на офицера, никто не говорил о нем, да и говорить, собственно, было нечего, поскольку невероятные трудности, пески, перестрелки, жажда и само поле боя

существовали только в воображении молодого человека. Он и в самом деле доставил указ, но, ни в делах, ни в походах участия не принимал, так как на следующий же день был с эстафетой отправлен в Петербург. Однако он исполнил оба поручения быстро и четко, был тут же произведен в поручики и теперь, вернувшись в Москву, чувствовал себя если не на вершине, то на подъеме к вершине славы, успехов и карьеры. И, пребывая в молодом ослеплении, слышал то, чего не было, и не замечал того, что было.

На сцене появились члены Славянского комитета, в зале наступила выжидательная тишина, и председательствующий объявил о выходе отца Никандра.

Отец Никандр был весьма пожилым, но далеко еще не старым человеком. Он много ездил по поручениям Церкви и по своим надобностям, много видел, часто выступал с просветительскими и благотворительными целями, писал статьи и заметки, состоял членом многочисленных комиссий и комитетов. Его хорошо знала московская публика всех сословий как страстного поборника православия и христианской морали, любила слушать, привыкла к нему, но сейчас по залу пробежал легкий ропот: всегда строго и тщательно одетый, священнослужитель вышел на сцену в пропыленной, покрытой странными ржавыми пятнами простой дорожной рясе, с почерневшим и погнутым медным крестом на груди.

— Актерствует отец, — насмешливо сказал студент рядом с Олексиным.

Отец Никандр начал говорить, и на студента зашикали. Гавриил посмотрел в третий ряд, где рыжая голова артиллериста почти нависла над худеньким плечиком мадемуазель Лоры, нахмурился и как-то пропустил гладкое и неторопливое начало выступления. Он видел лишь шевелящийся, как у кота, ус над розовым ушком, чувствовал досадную тревогу и словно вдруг оглох.

— ...я ехал по выжженной, вытопанной и напоенной кровью стране, — донеслось до него наконец. — И если бы не заброшенные кукурузные нивы, если бы не изло-

манные виноградники, я мог бы подумать, что Господь перенес меня через столетия и я еду по родной Руси после нашествия Батыя. Увы, я был не в Средневековье, я путешествовал по европейской и христианской — услышите же это слово, господа! — христианской стране в конце просвещенного девятнадцатого столетия!

Шепот прошелестел по залу, и опытный оратор сделал паузу. Его сдержанный, спокойный и полный горечи пафос отвлек Гавриила от досадных дум и подозрений; он не смотрел более в третий ряд, он слушал.

— Мы ехали медленно, очень медленно, потому что на дороге то и дело попадались неубранные, уже тронутые тлением трупы. Лошади останавливались сами, не в силах сделать шаг через то, что некогда было венцом Божьего творения; мы выходили из кареты, мы рыли ямы близ дорог, и я совершал последний обряд, не зная даже, как назвать душу, что давно уже предстала пред Богом. «Господи, — зывал я, — прими душу в муках почившего раба Твоего, а имя ему — человек».

Он снова сделал паузу, и в мертвой тишине отчетливо было слышно, как судорожно всхлипнула женщина.

— Воздух пропах тлением, смрадом пожарищ, кровью и страданием. Великое безлюдье и великая тишина сопровождали нас, и лишь бездомные псы выли в отдалении да воронье кружилось над полями. Цветущая земля Болгарии была превращена в ад, и я не просто ехал по этому аду, я спускался в него, как Данте, с той лишь разницей, что это была не литературная «Божественная комедия», а реальная трагедия болгарского народа. Я потерял счет замученным, коих отпевал, я потерял счет уничтоженным жилищам, я потерял счет кострам и виселицам на этой земле. Я думал, что достиг дна человеческой жестокости и человеческих страданий, но я ошибся: Бог послал мне страшные испытания, ибо человеческая жестокость воистину есть прорва бездонная.

Вечерело, когда смрад стал ужасным. Кучер погонял лошадей, но они лишь испуганно прядали ушами, а потом и вовсе остановились, точно не в силах идти дальше.

Мы вышли из кареты. Левее нас на возвышенности еще дымилось, еще догорало огромное село. Клубы смрадного дыма сползали к дороге, окутывая ее точно саваном. Нечем было дышать от пропитанного миазмами разложения липкого, жирного дыма. Там, наверху, находилось нечто ужасное, распространявшее на всю округу тяжкий дух смерти, и я не мог не увидеть это воочию. Прочитав молитву, я медленно тронулся в догоравшее селение. Я шел один, вооруженный лишь Божьим именем и человеческим состраданием, я шел не из праздного любопытства, а в слабой надежде найти хоть единое живое существо и вырвать его из лап смерти. Я пробирался через горящие обломки зданий по улицам села, и смрад усиливался с каждым моим шагом. Я задыхался, я хрипел, весь покрывшись потом, но шел и шел, направляясь к церкви и надеясь, что там, в доме молитвы, найду кого-либо из тех, кто еще нуждается в помощи. Но совсем скоро я замер, не в силах сделать ни шагу: я наткнулся на труп. Жалкий, сморщенный, полуобгоревший трупик ребенка валялся посреди бывшей улицы — той улицы, на которой совсем недавно протекала вся его веселая детская жизнь, где он играл и дружил, откуда вечерами его никак не могла дозваться мать. Я подумал о его матери и не ошибся: я увидел ее рядом, в двух шагах, с черепом, раскрытым зверским и неумелым ударом ятагана. Она тянула руки к своему ребенку, она, мертвая, звала его к себе. В ужасе оглянулся я окрест и всюду, куда только достигал мой взгляд, — под тлевшими остатками домов, во дворах, на обочинах и просто среди дороги — всюду видел трупы. Трупы детей и женщин, девушек и юношей, мужчин и старцев. Трупы росли, трупы вздымались горами, трупы тянули ко мне синие руки. Я шел как в страшном сне, вцепившись в крест и творя молитву.

Так, обходя трупы или просто перешагивая через них, когда обойти было невозможно, продолжал я свой страшный путь. Я не задохнулся от смрада, не захлебнулся от рыданий, не потерял сознание от ужаса: я выдержал испытание, я уверовал в свои силы. Но когда я вошел в цер-

ковный двор, я понял, что никаких человеческих сил не хватит, чтобы вынести то, что мне предстало: весь двор был завален человеческими телами. Весь двор, от стены до стены, от церкви до ворот, в несколько слоев! Четвертованные обрубки, бывшие некогда мужчинами, девичьи головы с заплетенными косичками, изрубленные женские тела, иссеченные младенцы, седые головы старцев, проломленные дубинками, — все это со всех сторон окружало меня, все это давило и теснило меня, и я не мог сделать ни шагу. Я был в самом центре царства мертвых. И тогда я возопил. «Господи! — кричал я, и слезы текли по моим щекам. — За что Ты столь страшно испытываешь смирение мое, Господи? Вложи меч в руки мои, и я воздам зверям в облике человек. Вручи мне меч, Господи, ибо силы мои на исходе от испытания Твоего! Вручи мне меч!..» Так кричал я над телами моих братьев и сестер, принявших лютую смерть от рук башибузуков. Кричал, пока не истощились силы мои и не рухнул я на колени в запекшуюся кровь. Я рыдал и молился и встал, осознав долг свой. Долг этот придал мне сил: я не только дошел до кареты, но и еще раз проделал весь путь от дороги до церкви, захватив с собой все необходимое для требы. Когда мы вернулись на церковный двор, уже стемнело и взошла луна. Кучер-болгарин рыдал, упав ниц и грызя окровавленную землю, а я отслужил панихиду по невинным страдальцам, земно поклонился и поклялся, пока жив, рассказать миру, что творится в несчастной Болгарии.

Мы не спали ночь, притомились и потому остановились на отдых в полдень недалеко от места чудовищной гекатомбы. Это был небольшой постоялый двор на перекрестке, принадлежащий испуганному, тихому и немолодому болгарину. В доме находились жена хозяина, исплаканная и почерневшая от горя, и их дочери десяти и шестнадцати лет. Я спросил о стертом с лица земли селении; хозяйка, а вслед и дочери начали рыдать, а хозяин тихо и горестно поведал мне, что селение то называлось Батак, что жители его встали против произвола османов и были поголовно вырезаны в страшную ночь и еще бо-

лее страшный день. Хозяева и сами были родом из Батака, но находились здесь и потому уцелели, а все их имущество было разграблено и предано огню, все их родственники и единственный сын, по их словам, погибли в резне, учиненной озверелой толпой башибузуков. Это случилось совсем недавно, всего несколько дней назад, но окрестные жители боялись приблизиться к селению, страшась мести башибузуков, и я был первым, кто взошел на эшафот после ухода палачей. Я мог бы многое поведать вам с его слов. Я мог бы рассказать, как ятаганами рубили материнские руки, чтобы вырвать из них младенцев и бросить их в огонь. Я мог бы рассказать, как стреляли в набитую людьми церковь, набитую настолько, что пули пронзали по нескольку человек кряду, а убитые оставались стоять, ибо пасть им было некуда. Я мог бы рассказать, как зверски, на глазах у отцов и матерей, насиловали девочек прямо на окровавленной земле, а утолив животную похоть, отводили их на мост, где и отрубали им головы, соревнуясь в лихости удара. Я многое мог бы рассказать, но я пощажу ваши чувства.

Я не помню, кто первым крикнул знакомое нам, но — увы! — страшное в Болгарии слово «черкесы». Я ничего еще не успел понять, как мать бросилась предо мною на колени, умоляя спасти ее старшую дочь. Спасти не от смерти, нет, — кажется, они уже не боялись смерти! — спасти от неминуемого и мучительного позора. «У меня в доме есть тайник, но в нем не поместятся двое. Умоляю вас, господин, спасите мое дитя! Заклинаю вас именем Бога и матери вашей, спасите!» Я сам отвел дрожавшую от страха старшую девочку в свою карету, уложил ее на пол, накрыл ковром, а поверх навалил багаж. И вовремя: к дому уже со всех сторон с гиканьем неслись всадники. Они мгновенно окружили дом, вытолкали всех во двор и поставили у стены. Все делалось молча и дружно; лишь один — очень молодой, в простой черкеске, но с богатым оружием — стоял в стороне, не вмешиваясь в суету и не отдавая никаких распоряжений, хотя был их вождем, что я понял сразу.

Пока черкесы грабили дом, вынося все, что представляло хоть какую-то ценность, или попросту круша и ломая, если вынести было невозможно, этот последний через суетливого переводчика-болгарина приступил к допросу хозяина: «Где твой сын?» — «Не знаю», — сказал старик. «Он врет, эфенди! — закричал переводчик. — Его сын сражался в Батаке!» — «Стыдно врать такому почтенному человеку, — сказал черкес. — А где твои дочери?» — «Не знаю», — тихо, но с непоколебимым упорством повторил отец. Двое услужливых арнаутов взмахнули нагайками. Они хлестали старика по лицу, плечам, голове. Он не защищался, только прикрыл глаза. На седой щетине его лица показалась кровь. «В чем вина этого человека, бек?» Я сознательно крикнул по-русски. И по-русски получил ответ: «Его вина понятна каждому: не надо было рождаться болгариним. А ты кто? Поп?» — «Я представитель Русской православной церкви и сейчас возвращаюсь в Россию из Константинополя, — сказал я. — Фирман султана разрешает мне беспрепятственный проезд». В это время его воины подошли к моей карете с намерением обшарить и ограбить ее, как ограбили дом. Еще мгновение — и они открыли бы дверцы. «Назад! — закричал я. — Мое имущество неприкосновенно! Я повелеваю именем его величества султана!» — «Оставьте его карету, — приказал бек. — К сожалению, мы еще не воюем с Россией. Но берегись, монах, попасть ко мне в руки, когда это случится!» Я мысленно возблагодарил Господа, увидев, что черкесы отходят от кареты. А допрос тем временем продолжался. «Как зовут твоего сына, старик?» Старик молчал. «Это он, он! — суетливо кричал переводчик. — Его сына зовут Стойчо, я знаю эту семью!» — «Зато эта семья не знает тебя, иуда», — сказал старик и плюнул под ноги переводчику. Над ним вновь взвились нагайки, но бек остановил арнаутов. «Мы ищем убийцу, которого зовут Стойчо. У него рассечена голова, за что его уже прозвали Меченым. Три дня назад он зарубил турецкий патруль в горах. Я спрашиваю тебя, старик, что ты знаешь о Стойчо Меченом? Подумай, прежде чем

солгать. А пока мои люди поищут твоих дочерей, может быть, это развяжет твой поганый язык. Где твои дочери, старуха?» — «Они ушли, они далеко отсюда. — Мать пала в ноги, ползала в пыли, пытаюсь поцеловать сапог черкеса. — Эфенди, пощади нашу старость! Мы смиренные люди, эфенди, мы ни в чем не виноваты!» — «Болгары не бывают невиновными, — сказал бек. — Лучше добровольно покажи, где прячешь дочерей, старая ведьма!» — «Их нет здесь, нет, эфенди!» — «Тогда мы найдем их сами». Бек подал знак, и дом вспыхнул, подожженный со всех сторон. Онемев от ужаса, отец и мать смотрели, как пламя пожирает их жилище, а заодно и дочь, спрятанную в нем. «Молись! — властно крикнула мать, заметив, как вздрогнул и шагнул к дому старик. — На колени!» Она рухнула на колени и начала горячо, неистово горячо молиться за упокой сгоравшей заживо дочери. Старик дрожал крупной дрожью, а черкесы с живейшим любопытством смотрели на бушующее пламя. Из дома раздался душераздирающий крик ребенка. Черкесы засмеялись, а мать продолжала молиться: она предпочитала мученическую смерть дочери ее бесчестью. Но отец не выдержал. Пользуясь тем, что на него не обращали внимания, он схватил тяжелую дубину и занес ее над головой. Черкес, над которым взметнулась она, успел вырвать из ножен шашку, но шашка разлетелась пополам, и узловатая дубина обрушилась на его голову. Черкес упал, и в тот же миг полдюжины шашек блеснули в воздухе. Они со свистом и яростью полосовали упавшего наземь старика, кровь брызгала во все стороны, трещало пламя, все еще нечеловечески кричала сгоравшая заживо девочка, а старуха... Нет, она уже не молилась. Поднявшись на ноги, она извергала проклятья! Блеснула шашка, седая голова старухи покатилась с плеч, и это было последним, что я увидел. Я потерял сознание и упал в лужу крови рядом с изрубленным в куски отцом.

Когда я очнулся, черкесы уже ушли, захватив с собой раненого сообщника. Я поднялся и только тогда увидел, что рядом с обезглавленной матерью молча стоит на ко-

ленья старшая дочь, распустив по плечам длинные черные волосы. Я сказал ей, что мы возьмем ее с собой, но она отвела руку, которой я коснулся ее плеча, подняла с земли обломок черкесской шашки и коротко обрезала свои роскошные косы. «Я буду мстить, — сказала она. — Клянись тебе, мать, тебе, отец, тебе, сестра. Я буду мстить за вас и за Болгарию, пока не отрастут мои волосы». И ушла в горы. Мы кое-как разворошили догоравший дом, извлекли оттуда останки несчастного ребенка и с честью похоронили трех мучеников в одной могиле. На пожарище я нашел этот крест и тогда же надел на себя. А в этой рясе я был там, на постоялом дворе, пятна на ней — это кровь болгарских мучеников, наших братьев и сестер!..

Отец Никандр замолчал, но в зале уже не было тишины. Рыдали женщины, хмуро, скрывая волнение, покашливали мужчины, и глухой гул перекатывался из конца в конец. Выждав длинную паузу, священник снова поднял руку:

— Трагедия Батака и безымянного двора, быть свидетелем которой меня поставил Господь, неожиданно вновь всплыла передо мной на страницах одной из румынских газет. Вот что там говорилось. — Он достал газету и начал читать: — «По сообщениям осведомленных турецких источников, подтвержденным болгарскими беженцами, в Болгарии на территории горного массива Стара Планина действуют хорошо организованные отряды инсургентов. Особую популярность среди болгарского населения завоевал некий Стойчо Меченый, ярость и отвага которого наводят ужас на местные турецкие власти». Слава тебе, мститель за муки Болгарии, Стойчо Меченый! Молю Господа Бога нашего, чтобы продлил Он дни твои на земле и вложил в твое сердце еще более яростную ненависть к палачам твоего народа. Знай же, что мы, твои русские братья, будем не только молиться, но и готовиться. Готовиться к тому знаменательному дню, когда великая Россия придет на помощь православной Болгарии, изнемогающей под гнетом мусульманской Порты! Да будет так!

Отец Никандр осенил себя широким крестным знаменем и торжественно поцеловал тусклый наперсный крест. И зал словно взорвался. Вскидывали с мест, кричали, плакали, потрясали кулаками. Это было бы похоже на массовое сумасшествие, если бы не та искренность, с которой выражала взбудораженная публика свои чувства.

— Мщения! — кричал багровый полковник, потрясая кулаком. — Мщения!

— Жертвую! — басом вторил дородный купчина, и слезы текли по окладистой ухоженной бороде. — Капиталы жертвую на святое дело! Жертвую, православные!

— Подписку! Организовать подписку! Всенародно!

— Петицию государю! — кричали молодые офицеры. — Петицию с просьбой о добровольческом корпусе!

— Все пойдем! Все как один!

Гавриил кричал со всеми вместе. Он вдруг позабыл и о мадемуазель Лоре, и о рыжеусом артиллеристе-сопернике, он был весь во власти высокого и прекрасного вдохновения. Протолкавшись сквозь ряды кричавших мужчин и рыдавших дам, он пробрался к сцене, решительно отодвинул шагнувших к нему членов Комитета и опустился на колени перед отцом Никандром.

— Отче! — громко и четко сказал он, перекрыв шум, и зал невольно примолк. — Благословите первого русского волонтера, отче.

2

Патетический жест офицера неожиданно для него получил широкую известность. Проталкиваясь к сцене, Олексин и не думал о последствиях: его захватил всеобщий порыв, восторженный пафос публики. Его обнимали, благодарили, целовали, ему жали руки — и все это прилюдно, все это в напряженном поле человеческих чувств, единых и искренних, по крайней мере в данный момент. Он был тут же введен в члены Славянского комитета, корреспонденты наперебой расспрашивали его о том, что было и чего не было, что будет и чего не может

быть; он стал вдруг центром кристаллизации уже подготовленного, уже перенасыщенного раствора. Он собственной волей взлетел на орбиту, но взлетел так точно, так вовремя, что был тут же подхвачен посторонними силами, направлен и раскручен ими в соответствии с внутренними законами общественного движения и теперь уже не мог самостоятельно вернуться в прежнее приземленное состояние, даже если бы и захотел этого.

И Олексин увлекся. Шли бесконечные заседания, собрания, совещания, рауты и вечера, и начальство безропотно отпускало ставшего вдруг знаменитым поручика по первой его просьбе. Даже публикация в газетах, в самых восторженных тонах освещающая его «святой порыв», не вызвала неудовольствия командования, хотя армия терпеть не могла газетных сообщений о тех или иных поступках офицеров. Олексин ожидал бури, и тучи в лице посыльного от самого полкового командира не замедлили показаться на горизонте. Поручик тут же явился и отрапортовал.

Командир полка, седой и кряжистый, как заиндевший дуб, неодобрительно сдвинул косматые брови и дважды разгладил усы — признак, не предвещающий ничего хорошего.

— В газетки попали? И полк упомянут полностью. Извольте объяснить, чем обязаны такой славе?

Гавриил коротко обрисовал ситуацию и в двух словах — свои чувства. Он сознательно о чувствах говорил мало, надеясь развить эту тему впоследствии, если старик начнет разнос. Командир молча выслушал, снова дважды провел по усам.

— Не одобряю, — пробасил он. — В наше время эдакого не случалось. А уж коли случилось бы — адью! Ска-тертью дорога. Однако в искренности не сомневаюсь, за сдержанность хвалю. Только уж коли назвались груздем, так первым в кузовок полезайте, первым, поручик.

Общественная деятельность настолько поглотила Олексина, что все его личные дела вынужденно отошли на второй план. Конечно, он не забыл о мадемуазель Лоре,

в которую, как казалось ему, был влюблен страстно и искренне, но с молодым максимализмом считал, что дело, которым он занимается, и есть самое главное, а посему Лора должна терпеливо ждать, когда придет ее черед. Но Лора ждать не желала, справедливо полагая, что на свете нет дел, мешающих влюбленному проявить внимание. Сначала это была обида, незаметно подогреваемая намеками и шутками Тюрберта, потом... потом — женская месть, избравшая своим орудием все того же рыжего артиллериста: Лора постоянно бывала с ним в тех же местах, где знали и Гавриила, отчаянно веселилась и отчаянно кокетничала, ожидая, что ревность образумит ново-явленного общественного деятеля. Однако Олексин то ли не замечал ее контрмаршей, то ли терпеливо сносил их. Лора встревожилась не на шутку и стала избегать рыжего подпоручика. Но Тюрберт к тому времени уже основательно увлекся ею — кстати, и партия была вполне подходящая, — а потому и решил действовать сам и выбить противника из седла. Этим пресловутым седлом для Гавриила была служба; рыжий подпоручик правильно понял это и повел огонь по всем канонам артиллерийской науки.

Да, Гавриил очень гордился службой в привилегированном московском полку. Ему нравилась форма, он любил строй, разводы и ученья и искренне плакал от восторга и умиления, впервые присутствуя на высочайшем смотре. Он мечтал о карьере и славе, о чинах и наградах, о благосклонности государя и любви товарищей по полку. Он свято верил, что добьется того положения, которого не добился его отец, скандально уволенный в отставку по строптивости характера, и уже преуспел по службе, исполнив почетное поручение и получив чин поручика. Он был хорошим товарищем и примерным офицером, офицером на виду, с множеством полезных знакомств, несмотря на просчеты домашнего воспитания, отсутствие связей и тощий кошелек. И даже разовый, позорный, по сути мальчишеский проигрыш в карты в самом начале карьеры, о котором он всегда вспоминал с приливами запоздалого стыда, оказался плюсом в его офицерской

биографии, укрепив за ним славу беспутного малого, для которого деньги существуют постольку, поскольку их можно проиграть. Изо всех сил тянулся за родовитыми офицерами, хватая на лету их словечки и привычки, манеру говорить, походку, даже клички лошадей. Временами казалось, что у него уже ничего не осталось своего, что он словно бы растворился в среде, которую имел все основания считать своей, которой поклонялся и которой восхищался. Ему почудилось, что после удачной командировки и внезапного общественного взлета он уже стал равным им — им, швыряющим десятки тысяч на любовниц и кутежи, проигрывающим состояния в карты и покупающим лошадей за баснословную цену только для того, чтобы завтра же загнать их на первой же скачке. Так чудилось ему, чудилось, пока...

— Господа, я вычитал любопытнейшую штучку. Оказывается, помесь жеребца с ослицей — кровного, заметьте, жеребца с робкой рабочей скотинкой — называется лошаком! Смешное словечко, господа, не правда ли? Ло-шак! Он наследует жеребьячью силу и ослиную тупость, а посему абсолютно незаменим в обозе. Но не в армии, господа, отнюдь не в армии!

Это было в офицерской компании, шумно обсуждавшей только что вспыхнувшее восстание в Сербии. Опоздавший Тюрберт, наплевав на сербские дела, прямо с порога громко выложил почерпнутые из словаря сведения, в упор глядя на Гавриила. Все почему-то начали смеяться и острить, и Олексин смеялся и острил, хотя сразу понял, в чей огород полетел камешек, и лицо его заполыхало помимо воли. Но он изо всех сил смеялся и изо всех сил острил, стараясь не встречаться с Тюрбертом взглядом и все время ощущая, что рыжий подпоручик смотрит на него, насмешливо улыбаясь. Тогда у него хватило выдержки не понять, и Тюрберт отложил второй залп. Он произвел его через три дня — уже в другом доме, в присутствии мадемуазель Лоры.

В этот вечер Лора упорно не замечала Тюрберта, отдав все свое обаяние, внимание и кокетство Гавриилу, специ-

ально ради нее пришедшему сюда. Жертва была велика, Лора оценила ее и пыталась не просто отблагодарить, но и закрепить свой первый успех в борьбе с общественной деятельностью потенциального жениха. Тюрберт учел ситуацию и решил идти ва-банк.

— Пахнет лошаком, господа, неужели не ощущаете? Странно. Этаким специфический запах: смесь навоза, щей и сивухи. Кстати, Олексин, отчего бы вам не сволонтерить в Сербию?

Если бы Гавриил сумел не расслышать этих слов или, на худой конец, дал бы подпоручику пощечину! Но он не сделал ни того ни другого. Он растерялся, покраснел и тут же ушел, ничего никому не объяснив. И лишь на другой день прислал Тюрберту форменный вызов.

— Я бы подстрелил Олексина не без удовольствия, но боюсь, господа, что может пострадать честь дамы, — сказал Тюрберт присланным секундантам. — А своему другу порекомендуйте послужить в обозе на благо отечества: на лошакх хорошо пушки возить.

При первом же намеке на Лору Гавриил отказался от вызова, и после этого оставалось лишь уйти в отставку: кодекс чести не прощал офицеру, ставшему мишенью острот, если офицер этот не находил приличного предложения для дуэли. Олексин его не нашел, получил афронт и покрыл себя позором. Оставался последний выход: Сербия; он подготовил этот выход публичными заверениями и общественной суетой. Поставить крест на военной карьере во имя спасения братьев-славян от османского ига — выход, не требовавший объяснений, а их-то Гавриил и боялся пуще всего.

Объяснений и впрямь не требовалось, но отставки ему не дали. Пришлось переписать рапорт и вместо отставки получить годичный отпуск «по семейным обстоятельствам». Он согласился на него, втайне решив через год все же настоять на окончательной отставке.

А поездка в Сербию все откладывалась и откладывалась. И вместо того чтобы ехать самому, Олексин встречал, провожал, поздравлял и напутствовал тысячи рус-

ских волонтеров, сплошным потоком ринувшихся в далекую и незнакомую Сербию. Ехали офицеры и студенты, рядовые казаки и отставные полковники, мещане и земские деятели, купеческие сынки и крестьянские дети. Ехали «мстить нехристям» и с оружием в руках отстаивать чужую свободу; ехали за крестами и карьерой; ехали из любознательности и из равнодушия; ехали посмотреть мир или просто хоть на время удрать из родного отечества, чтобы полной грудью вдохнуть свежий ветер борьбы вдаль от голубых мундиров. Ехали все, кто хотел и кто мог, — не ехал лишь поручик Гавриил Олексин. Волонтер номер один.

3

В эту ночь в последний раз пели соловьи. По смоленской традиции девушки выходили в сады и слушали последние песни, млея от восторга и ожидания. В полночь бдительные мамы отправляли их спать, но девушки все равно не спали, слушая соловьев в постелях и до утра мечтая о женихах. Непременно статных, красивых, удачливых и добрых.

Варе Олексиной никто не приказывал идти спать: в их городском доме она оставалась единственной хозяйкой. И недавно представленному ей молоденькому прапорщику, стоявшему на квартире в пустующем купеческом доме, тоже никто не приказывал. Молодые люди, восторгаясь, долго слушали соловьиные переливы, глядя друг на друга через забор, разделявший сад, а потом слово за слово разговорились, соловьи отошли на второй план, и офицер перепрыгнул через ограду.

— Варвара Ивановна, умоляю вас, не пугайтесь. Позвольте мне постоять подле вас и, если не возражаете, выкурить две папиросы.

Варя испугалась, но не подала виду, решив, что всегда успеет убежать, если молодой человек вздумает вести себя непочтительно. Но прапорщик был вполне корректен, даже застенчив, говорил тихо и интересно, держал себя на

расстоянии, и Варя вскоре забыла о своих девичьих страхах. Прапорщик рассказывал о Кавказе, откуда только что приехал, о мирных и немирных горцах, о тоскливой службе в крохотном гарнизоне, куда ему предстояло вернуться всего через несколько дней. Соловьи звенели восторженно и любовно, ночь была нежной и таинственной, а их возраст — возрастом бессонниц, смутных тревог и отважного желания идти навстречу друг другу. И вскоре они уже сидели рядом, и стук их сердец давно уже заглушил все соловьиные трели.

Очнулась она внезапно, как со сна, от далекого тележного грохота, что отчетливо слышался в тихом рассветном воздухе. Оттолкнула прапорщика, вскочила со скамьи, на которой забылась в объятиях, и опрометью бросилась в дом, лихорадочно застегивая кнопки на распахнутом вороте блузки.

— Варя! Варенька, подождите! Два слова, Варенька, умоляю, два слова!

Она не оглянувшись, влетела в дом, захлопнула за собой дверь и привалилась к ней, точно боялась, что прапорщик ворвется следом. И почему-то все время слышала нарастающий тревожный тележный грохот.

С этим грохотом с Киевского шоссе влетела в Смоленск легкая таратайка. Промчалась по пустынной, усыпанной сенной трухой площади, миновала Молоховские ворота, мелькнула на Благовещенской и остановилась у одноэтажного особняка на чинной Кадетской улице. Возница — крепкий мужик с косматой гривой, но аккуратно подстриженной бородой — ударил кулаком в загнувшиеся ворота:

— Семен!

Неистово залаяли собаки, где-то хлопнула дверь. К воротам степенно шел заспанный дворник. Почесывался, зевал, крестил заросший рот, важно гремел ключами.

— Кого надо?

— Отчиняй, Семен!

— Захар Тимофеич? — Дворник, забыв и сон, и степенность, засеменял к воротам. — Счас, счас. Спозаранку

прибыли, Захар Тимофеич, ночью, стало быть, из Высокого-то выехали. Ай, лошадку загнали, ай! Дело, стало быть, срочное? А барышня спит и не чает...

Без умолку говоря и не заботясь при этом, слушают его или нет, Семен открыл наконец огромный ржавый замок, сдвинул засовы, распахнул заскрипевшие ворота.

— Здравствуйте вам, Захар Тимофеич!

— Аня померла. — Захар снял картуз, вытер изнанкой мокрое лицо. — Аня наша померла вчера, Семен.

— Господи!.. — Крупное заросшее лицо дворника задрожало, и, чтобы скрыть эту дрожь, он по-бабьи прижал ладонь ко рту. — Анна Тимофеевна? Господи, Боже ты мой, Господи! Упокой душу рабы Твоя.

— Отмучилась заступница наша, — дрогнувшим голосом сказал Захар и тут же, словно злясь на себя за секундную слабость, крикнул сердито: — Ну, чего рассоплился? Коня прими, выводы да не напои с похмелья-то! Смотри у меня!

Крупно, по-хозяйски зашагал к крыльцу. Не доходя, швырнул кнут в клумбу с отцветающими пионами, взшел по ступеням и скрылся за тяжелой дверью, держа в кулаке смятый картуз.

В доме уже проснулись. Полная экономка в капоте и старинном чепце, услышав новость, затряслась, замала руками.

— Полно, Марфа Прокофьевна, не вернешь. — Захар помолчал, теребя картуз. — Буди барышню.

Барышня вышла сама. Остановилась в дверях, вцепившись в косяки:

— С мамой?

— Нету маменьки, Варвара Ивановна, — глухо сказал Захар. — Нету больше сестрицы моей Анны Тимофеевны.

И тяжело, грузно опустился на стул, чего никогда не делал в присутствии барышни Варвары Ивановны Олексиной.

Варя не закричала, не вздрогнула, только лицо ее, став белее блузки, словно опустилось, поехало вниз, к закушенной губе и отяжелевшему вдруг подбородку. Она ни

о чем не спрашивала, пристально, не моргая глядя на Захара огромными материнскими глазами.

— Вчера еще песни играла. Потом полоть пошла. Знаешь, там, у пруда, где огороды заложили.

— Полоть! — неожиданно громко и резко сказала Варя. — Ей ведь нельзя полоть, нельзя работать.

— Да нешто это работа, — вздохнул Захар: ему не дышалось, и он все время вздыхал. — Это ж так, в потеху. Разве ж мы дали бы ей? А тут только нагнулась и — в ботву.

Дом уже полностью проснулся: хлопали двери, шуршали юбки, скрипели половицы. В задних комнатах кто-то плакал, все говорили шепотом, и только резкий голос Вари звучал громко и отрывисто:

— Врача догадались?

— Сразу же за лекарем послали: у господ Семечевых лекарь из Петербурга гостит. Приехал вскорости, да не помог: к вечеру преставилась.

Захар замолчал, ожидая вопросов, но Варя больше ни о чем не спрашивала, все так же пристально глядя на него. Из всех дверей выглядывали женские лица.

— К полудню привезут, — сказал он, поняв ее молчание. — Подготовить все надо.

— Телеграммы, — опять перебила Варя. — Батюшке и Гавриилу в Москву, Феде в Петербург, Васе в Америку. В Америку телеграммы принимают?

— Не знаю, барышня.

— Узнаешь на телеграфе. Со станции отправляй, оттуда скорее доходят. Идем, я запишу адреса.

Варя оторвалась от косяков, качнулась. Захар вскочил, чтобы поддержать ее, но она отстранилась и пошла вперед, чуть откинув голову над прямой, как струна, спиной.

Они прошли в тесный кабинетик, где стояли старинное бюро, шкафы с книгами и уютное кресло, в котором лежал раскрытый журнал. Варя сразу начала писать, а Захар остановился в дверях.

— Прими журнал и садись, — сказала она, не оглядываясь. — Как написать, когда будем?.. — Она замолчала.

— Хоронить-то? — Он подумал. — Раньше субботы не получится. Из Москвы сутки езды, а из Петербурга да с пересадкой еле-еле в трое суток Федя управится.

— Я пишу всем одно. В четыре адреса: два в Москву, один в Петербург и один в Северо-Американские Соединенные Штаты.

— А зачем в Штаты телеграмму? Вася все одно к похоронам не успеет, для чего же пугать? Может, письмо? Письмо спокойнее.

— Письмо? — Варя по привычке покусала нижнюю губу. — Пожалуй, ты прав, письмо лучше. Я напишу, а ты ступай на телеграф. Коня сильно загнал?

— Это есть.

— Возьмешь мою пару. Распорядись там. — Она протянула синеватый листок дорогой глянцевой бумаги. — Отправишь со станции.

Он покивал, соглашаясь. Первые распоряжения были отданы, и вместе с ними словно бы закончились и их деловые отношения. Они оба почувствовали это, вновь ощутили утрату и пустоту, ту страшную пустоту, что рождает такие утраты. Хотелось что-то сказать, утешить, ободрить или просто поплакаться, но это было и невозможно и не нужно, и они молчали, стоя друг перед другом.

— Ну, ступай, — тихо и мягко сказала Варя. — Ступай, мне одеться надо.

— Поплачь, Варя, — вдруг глухо сказал он, опустив кудлатую голову. — Поплачь и за упокой помолись. Полегчает.

— Хорошо, — сказала она, словно не слыша его. — Месяц до сорока не дожила. Как странно все.

Захар вздохнул, покивал горестно и пошел через залу к выходу, стуча подковками новых сапог по натертому паркету.

Варя прошла к себе, в смежную с кабинетом комнату. Остановилась в дверях, крепко обняв плечи скрещенными руками и незряче глядя на несмятую постель. На этой постели всегда спала мама в редкие приезды из усадьбы. Тогда Варя стелила себе на диване, что стоял тут же, у про-

тивоположной стены, и они говорили с мамой до глубокой ночи.

Мама не любила город, терялась в нем и даже не ездила за самыми необходимыми покупками. Дети унаследовали от нее эту сковывающую застенчивость, но Варя пошла в отца, только глаза были мамины. Она единолично распорядилась домом с той поры, как кончила пансион: вела хозяйство, делала покупки для усадьбы в Высоком, следила за учеьем младших братьев и сестер, регулярно писала старшим и отцу, хотя отец никогда не отвечал на письма, ограничиваясь скупыми поздравлениями на Пасху и Рождество.

Варя была центром их огромной разбросанной семьи, но душой этой семьи всегда оставалась мама, маленькая тихая женщина, до самой смерти не разучившаяся краснеть в присутствии посторонних. Мама безошибочно находила самые простые и теплые слова, самые неопровержимые аргументы, а советовать умела так, что совет этот воспринимался как вдруг возникшее собственное решение. Так было с Гавриилом, проигравшим в карты довольно кругленькую сумму, так было с Василием, попавшим под надзор III Отделения, так было и с самой Варей, еще девчонкой безоглядно влюбившейся в залетного офицера. Долгую зимнюю ночь они проплакали тогда с мамой на этой постели, а утром Варя уехала в Псков к тетке, оставив офицера в растерянности крутить лихие гусарские усы.

Отец никогда не принимал участия в жизни семьи. Прожив с ними бок о бок до рождения младшего — десятого по счету — ребенка, он так и остался чужим: Варя помнила только его бесконечные отъезды. У него была своя половина в доме, свои слуги, свои лошади, собаки, и даже обед ему готовил специально выписанный повар, а не их добрая, толстая, мало что умевшая кухарка. С детьми — а он занимался с детьми, когда был дома, два часа утром и час перед ужином, — с детьми он держался всегда ровно, спокойно и строго. Одинаково ровно и одинаково строго со всеми, никого не выделяя: у него не было

ни любимчиков, ни любимых, хотя как-то по-своему он их, конечно, любил, и дети чувствовали это и тоже относились к нему ровно и спокойно. Впрочем, он никогда не отказывал им в тех просьбах, которые считал разумными: в книгах, игрушках, детских балах или нарядах. Но любая личная просьба всегда превращалась им в общую потребность: если Гавриил просил ружье, то ружье получал не только он, но и не просивший этого Василий; если Варе хотелось щенка, то и щенков оказывалось два, а то и три — и Варе, и Феде, и Володе, хотя Федя и Володя об этом и не думали. И эта причуда не только лишала подарок индивидуальности и неповторимости, но заодно и радости, и дети как-то сами очень скоро отучились просить подарки у никогда не отказывающего отца.

Если у отца была редкая способность превращать подарки в ординарную вещь, то мама самые обычные вещи умела делать подарками, будь то крестьянские бабки или первый цветок, бантик на платье или горстка земляники. Даже сказки на ночь она рассказывала, никогда не повторяясь, интуитивно чувствуя настроение маленького слушателя. И одна и та же сказка выходила у нее то грустной, то радостной, то страшной, то веселой и поэтому всегда неожиданной. И если у каждого в детстве были свои радости, свои сказки и свои подарки, то были они только потому, что была мама.

Отец был общим для всех; мама для каждого была своя. Неповторимая и единственная мама.

И вот мамы не стало. Не стало самого незаметного, самого тихого члена семьи и, как ощутила сейчас Варя, самого главного ее члена. В каждой семье есть этот главный, есть ось, вокруг которой вращаются все, со смертью которого неминуемо разлетается самая крепкая и дружная семья. И Варя, еще ничего не осознав, уже предчувствовала этот неуправляемый разлет. Предчувствовала грядущую пустоту гнезда, хранить которое отныне предстояло ей. И ужас перед этой сегодняшней утратой и завтрашней пустотой был столь ошеломляющ, что она рухнула ничком на постель, захлебываясь от рыданий.

Выплакавшись, Варя немного успокоилась. Оделась в темное, застелила постель — они сами ухаживали за собой, и не только мама, но и отец следил за этим, — распахнула окно, но тут же закрыла его: в дворницкой постаринному, по-псковски выла Агафья. Варя хотела было послать туда горничную с приказом замолчать, но вовремя одумалась: дворня была вся вывезена с Псковщины, из маминой крохотной деревеньки, где все были родственниками. И оплакивали они сегодня не просто добрую и тихую барыню, а свою родную деревенскую девочку, ставшую госпожой по прихоти опального гвардейского офицера.

Варя вышла распорядиться, но в доме и так уже готовились к приему покойницы. Занавешивали зеркала в зале, зажигали лампы, застилали паркет половиками. Дворник Семен привез еловые ветки и охапки вереска, и Варя вместе с девушками усыпала вереском полы.

Занимаясь этими простыми делами, Варя все время прислушивалась, не скрипят ли ворота, и по привычке поглядывала на часы, но часы в зале были остановлены, а возвращаться в свою комнату ей не хотелось. Она ощущала движение времени, и приближающаяся встреча с тем, что когда-то было ее матерью, все больше и больше пугала ее. Страх копился, нарастал, и в конце концов она уже ничего не могла делать, а только ходила по комнате, напряженно прислушиваясь ко всем шумам.

Но раньше вернулся Захар. Он не только отправил телеграммы, но и договорился в соборе о панихиде, в Троицком монастыре — о чтицах и в ресторации Мачульского — о деликатесах и винах к поминкам. Он был толковым и грамотным мужиком, никогда не забывал о мелочах и слыл толковым управляющим. И даже смерть единственной и любимой сестры не нарушила его привычной хозяйственной деловитости. Это обстоятельство вызвало у Вари досаду.

— Хорошо, хорошо, — перебила она его, не дослушав. — Только бы Гавриил приехал поскорее.

Она говорила о Гаврииле, а думала о Василии, который никак не мог приехать из далекой Америки и долго

еще не узнает, что семья их внезапно осиротела. Думала не потому, что Василий был всего на год старше ее, а потому, что дружила с ним и знала как никто, как, может быть, знала только мама, его обостренное, болезненное чувство справедливости, даже и не чувство, а чутье. Для всех остальных он был немного чудаковатым, непрактичным и увлекающимся юнцом, предметом язвительных насмешек старшего брата, и только. И даже его торопливый отъезд за границу всеми воспринимался как побег, и лишь она одна знала, что дело здесь не в страхе перед III Отделением, а в высших идеалах добра и справедливости. Она не очень понимала и потому не разделяла эти идеалы («Да ведь разворуют эту вашу коммуны, Вася!»), но твердо была убеждена, что ее брат не способен ни на трусость, ни на подлость. Не способен физически, под страхом лютых мучений и самой смерти.

Иное дело Гавриил. Варя всегда считала, что она в отца, что от матери у нее только глаза, но отцовской копией в семье был старший. Сейчас, без толку блуждая по комнатам, прислушиваясь к шумам во дворе и сравнивая братьев, Варя понимала, что ее сходство с отцом только внешнее, кажущееся. И именно поэтому с тоской вспоминала далекого Василия и страшилась предстоящего свидания с Гавриилом. Слишком уж он казался ей сухим, надменным и язвительным.

Захар уговорил ее поехать, и Варя нехотя, через силу, села выпить чаю. Но тут заскрипели ворота, заголосила Агафья, и Варя кинулась к дверям со стаканом, лишь на крыльце отдав его Дуняше.

Первой во двор въехала широкая крестьянская телега. Подле с вожжами шел староста Лукьян, а на телеге рядом с гробом сидели, держа на коленях фуражки, почерневшие то ли от загара, то ли от горя и бессонной ночи Володя и Ваня. А из коляски, что остановилась у ворот, уже спешили к крыльцу Маша и Георгий; младших, как видно, не взяли.

Телега остановилась, братья спрыгнули с нее, и все вокруг молчали, потому что молчала Варя, все еще непо-

движно стоя на крыльце. Лукьян шагнул к ней, оглянулся растерянно на тихо плакавшую дворню и спросил:

— Прикажете вносить, барышня?

— Как же... Как же могли на телеге? — задыхаясь от слез, тихо спросила Варя. — Как же могли, как смели...

— Ну, полно, Варенька, полно, — сказала Маша, поднявшись на крыльцо и обнимая сестру. — Не влезает он в карету, пробовали.

«Он» был гроб, в котором под глухой крышкой лежала мама. И Варя сразу все поняла и сошла с крыльца.

— Вносите.

И вновь запричитала Агафья, словно только и ждала, когда Варя скажет это слово. Захар, Лукьян и Семен направились к телеге, братья, сунув фуражки Маше, пошли им помогать, а Георгий прижался к Варе, уткнувшись ей в колени.

— Мамочку жалко...

— Взяли! — коротко выдохнул Захар.

Гроб взмыл вверх, качнулся и поплыл к крыльцу, невесомо лежа на крутых мужицких плечах: Владимир и Иван лишь держались за него, идя впереди. Семеня и толкаясь, мужики поднялись на крыльцо, перехватив гроб с плеч на руки, и, теснясь, боком миновали дверь. Следом молча шли Маша, Варя и маленький зарезанный Георгий.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Гавриил получил телеграмму перед обедом; по счастью, догадались переслать из полка, куда она была адресована. Трижды перечитал: «Мама скончалась похороны субботу», поднял растерянные глаза на хозяйку, что торчала в дверях, сгорая от любопытства. Поймав его взгляд — вдовушка была молода и взгляды ловила жадно и преданно, — качнулась полным станом:

— Подавать, Гавриил Иванович?

— Что? — Он аккуратно сложил телеграмму, пытаясь собраться с мыслями. — Мне в полк надо. Вызывают.

Он боялся ее жалости, чувствуя, что может не выдержать. Прошел к себе, торопливо переоделся, прицепил саблю. И тут же сел и закурил, рассеянно уставившись в одну точку.

Ему казалось, что он думает о матери, но он ни о чем не думал. В голове, сменяя друг друга, мелькали какие-то случайные разрозненные воспоминания. То он видел себя еще маленьким на мосту, с корзинкой для ягод. Он замахивался на огромную, какие бывают только во сне и в детстве, бабочку, и корзиночка падала в воду и плыла, и кто-то во всем светлом, добрый и ласковый, доставал эту корзиночку. То он видел себя на качелях и взлетал ввысь, к самой перекладине, и вдруг сорвался, и кто-то в светлом, добрый и ласковый, поднимал его, испуганного, с земли. То он видел бабки — простые, ничего не стоящие косточки, игра крестьянских ребятишек, — и кто-то в светлом, добрый и ласковый, протягивал ему их.

Этим светлым чудом, добрым и ласковым, была мама. Он знал, что это мама, но почему-то именно сейчас ему никак не удавалось увидеть ее лицо. Он лихорадочно ворошил вдруг нахлынувшие детские воспоминания, но там, где он искал, мама была без лица. Это было просто нечто очень доброе и очень ласковое, само воплощение доброты и ласки, но лица у нее не было. Вероятно, оно появилось бы в других воспоминаниях, более поздних, когда он уже подрос и научился видеть, а не только смотреть. Но эти иные картинки сейчас не хотели возникать в его памяти, мама не приходила, и двадцатичетырехлетний офицер чувствовал себя совсем маленьким и совсем забытым.

За дверью вздохнули робко, но томно и многозначительно, и этот рассчитанный женский вздох вернул Гавриила к действительности. Он погасил папиросу и встал. Он решил уже не только ехать к отцу с этим известием, но заодно и выдержать бурю.

Сказав хозяйке, что придет за вещами, Гавриил вышел на улицу. Отец жил довольно далеко, на Пречистенском бульваре, но Олексин у Спасской взял лихача.

Дверь открыл не Игнат, старый камердинер отца, а лакей Петр, важный, толстый, ленивый, и слушавший только самого барина. Гавриил молча отдал ему саблю и перчатки, прошел в столовую и так же молча поклонился отцу, уже сидевшему за прибором.

— Обедал? Нет? Садись. — Отец говорил отрывисто и глядел в сторону, сдвинув седые брови. — Хочешь рябиновой? Я что-то пристрастился. Вино дрянь стало, кислятина.

— Мама умерла, — сказал Гавриил, помолчав. — Я депешу получил от Вари.

— Кислятина, — строго повторил старик. — Налей барину рябиновой, Петр. У меня раковый суп. Поцусь. Удивлен? Впрочем, если хочешь бульону...

Он вдруг замолчал. Чисто выбритый кадык его круто пошел вверх, странно задергался, и старик торопливо стал гладить седые усы, чтобы скрыть это судорожное движение. Потом сердито махнул рукой и, когда Петр вышел, поднял рюмку чуть заметно вздрогнувшей рукой.

— Помянем, поклонимся и Господа помолим мысленно. — Он большими глотками осушил рюмку. — Удивительно. И несуразно. Несуразно, Гавриил.

Он торопливо, расплескивая на скатерть, налил себе еще, выпил, пожевал корочку и откинулся к спинке стула, прикрыв старческие дряблые веки.

— А вы получили?.. — начал было Гавриил.

— Хорошо! — вдруг крикнул старик. — В эпоху всеславянского единения и православных идей пить рябиновую весьма патриотично. Знаменует русский дух. При выдохе особенно. Петр! Подавай.

Он в упор глянул на Гавриила странными, отсутствующими глазами. Словно тяжело и упорно думал о чем-то совсем ином, мучительном и сладком одновременно, а шумел и ерничал просто так, для прикрытия собственных дум. Он никогда не допускал никого в царство своих

размышлений и переживаний, думал не то, что говорил, и не говорил, что думал.

— Ты почему здесь? Ах да, отпуск. Надолго испросил?

— Надолго, — сказал Гавриил.

— А Черняев-то бежит! Бежит от нечестивых аскеров султана! — с какой-то злой радостью неожиданно сказал старик, и Гавриил испугался, не читает ли отец его мысли на расстоянии. — Мальбрук в поход собрался. Тебе, связанному с Комитетом, поди, вдвойне обидно, а?

— Генерал Черняев самоотверженно служит великой идее, — нехотя сказал Гавриил: не хватало еще спорить о политике в этот день. — Он рыцарь.

— Он легкомысленный искатель лавров, — перебил отец. — Ему наплевать на ваши идеи, и на султана, и на Сербию, ему наплевать на всё и на вся. Ему нужны лавры Цезаря: лучше быть первым в Сербии, чем вторым в Петербурге.

— И все же он был единственным, кто не бросил Сербию на произвол судьбы. Согласитесь, что одно это достойно уважения.

— Не соглашусь. Нет, не соглашусь! Не бросил по расчету и бросит тоже по расчету. У господ новоявленных крестоносцев сначала расчет, а уж потом вера. Как сухарный запас: на всякий случай. А что до идеи, то идея — плод размышлений, а не моды. На нее надо право иметь, ее надо выстрадать, а уж коли идея не вами высижена, то хоть время-то для приличия соблюдайте, господа! Хоть вид сделайте, что мучились ею, что сомнения преодолевали, что сравнивали ее и выбирали путем умственной деятельности, а не одних ушей. Я сейчас не о Цезаре российском говорю, не о господине Черняеве: бог с ним, с Черняевым! Я о брате твоём говорю, об американце нашем. Добро бы хоть в Америку за барышом поехал — говорят, ловкачи наживаются и даже якобы капитал составляют. Это бы понятно было, хоть и противно: дворянское занятие — шпага, крест да книга, так в старину считалось. В служении отечеству одним из трех этих путей шел русский дворянин, не пачкая рук торговлишкой и душу обо-

ротливостью не смущая. А ныне посмотришь: Господи, дивны дела Твои! Рюриковичи с мужиками об отрезках рядятся, Гедиминовичи заводишком обзавелись! А купчина — не воин, из торгаша офицера не сделаете. Нет-с, не сделаете!..

Старик говорил без умолку, путано и непоследовательно, а глаза оставались все теми же мучительно напряженными, ловащими что-то ушедшее. И поэтому Гавриил не спорил, хотя его так и подмывало поспорить, и надо было поспорить, чтобы выговорить наконец свое и утвердиться в этом окончательно. Но сейчас было не время.

Обед закончился, и поручик встал, намереваясь откланяться, так как отец обычно отдыхал после трапез с возлиянием. Надо будет еще послать за вещами, но главным сегодня было, пожалуй, то, что не в меру и не к месту разболтавшийся отец раздражал, как никогда прежде.

— Кури здесь, — сказал старик. — А лучше пойдем ко мне.

— Вам следует отдохнуть...

«Следует» было ошибочным словом: старик сдвинул седые брови. Он не терпел советов, а тем паче указаний и умел усматривать их и в более безобидных фразах.

— Следует не давать рекомендаций, если их не просят. Эту бесцеремонность оставьте приказчикам. — Он шел впереди, и толстый Петр еле поспевал открывать ему двери. — Любое благое намерение останется сотрясением воздуха, ежели не будет высказано в приличной форме. Сожалею, что ваше воспитание не принесло плодов, на кои смел рассчитывать.

Идя следом, Гавриил с тоской думал, что вряд ли успеет обернуться: видимо, старик намеревался скрипеть до позднего вечера. Он жил одиноко, не поддерживая знакомств и не признавая вежливых визитов, много молчал, но иногда говорил без остановки.

Им с детства внушали преклонение перед отцом. Не любовь, не уважение, а почти рабскую покорность, точно они были не законными его детьми, а тайно прижитыми. И отец воспринимал это как должное, не снисходя даже

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	5
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	402